

Стамбул Стамбул

Автор:

Бурхан Сёнемез

Стамбул Стамбул

Бурхан Сёнемез

Большой роман

Глубоко под древними улицами Стамбула в одной камере сидят четыре пленника: студент Демиртай, Доктор, парикмахер Камо и дядя Кюхейлан. В ожидании своей участи, в стремлении забыть о невыносимой реальности, они рассказывают друг другу забавные и странные истории. Постепенно из этих подземных сказаний рождается картина иной жизни, недоступной заключенным. Однако страдания и надежды людей из тех историй мало чем отличаются от страданий и надежд четверых пленников, силой своего воображения соединивших в одно целое два великих Стамбула: тот, что скрывается в недрах земли, и тот, что лежит на ее поверхности.

Впервые на русском!

Бурхан Сёнемез

Стамбул

Стамбул

Burhan Sonmez

ISTANBUL ISTANBUL

Copyright © 2015 by Burhan Sonmez – Kalem Agency

All rights reserved

Published in agreement with Kalem Agency, through Andrew Nurnberg Literary Agency.

Серия «Большой роман»

© М. С. Шаров, перевод, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018

Издательство Иностранка®

* * *

Посвящается Кыванч

Первый день

Рассказывает студент Демиртай

Железная дверь

– На самом деле, – начал я, – это длинная история, но я расскажу ее вкратце. В Стамбуле шел снег – такого сильного снегопада в городе никогда еще не видывали. В полночь две монахини пустились в путь из больницы Святого Георгия[1 - Больница Святого Георгия – известна также как Австрийская больница, была основана в 1872 году монахинями из Австрии. Функционирует по сей день. – Здесь и далее примеч. перев.] в Каракёе[2 - Каракёй, а также упоминаемые далее в тексте Саматья, Ортакей, Лалели, Бейоглу, Кумкапы, Джанкуртаран, Хисарустю, Бейазыт, Эминоню, Топхане – районы европейской части Стамбула.], чтобы принести печальные вести в церковь Святого Антония[3 - Церковь Святого Антония Падуанского – католическая церковь в Стамбуле на проспекте Истикляль.]. Вдоль домов под карнизами валялись замерзшие насмерть птицы. Уже распустившиеся – дело было в апреле – цветы багрянника обледенели и увяли, бродячие собаки жались по углам, пытаясь укрыться от пробирающего до костей холодного ветра. Вот ты, Доктор, когда-нибудь видел, чтобы в апреле шел снег? В общем, это длинная история, но я расскажу ее вкратце. Две монахини – одна пожилая, другая помладше – еле брели сквозь метель. У Галатской башни[4 - Галатская башня – крепостная башня, построенная в XIV веке генуэзцами.] молодая сказала пожилой, что за ними еще от начала улицы идет какой-то человек, и та ответила: у мужчины, преследующего их в такой поздний час и в такую непогоду, на уме может быть только одно.

Вдалеке заскрипела железная дверь. Я замолчал и посмотрел на Доктора.

В нашей камере было холодно. Пока я рассказывал Доктору историю, парикмахер Камо лежал, съежившись, на голом бетонном полу. Одеял у нас не было, так что приходилось греться, как щенкам, – прижимаясь друг к другу. День был похож на ночь, вечер – на утро; мы не могли понять, какое сейчас время суток. Мы хорошо знали, что такое боль, и каждый раз, когда шли на пытку, заново переживали наполнявший душу ужас. В эти короткие минуты ожидания боли стиралась грань между человеком и животным, умным и безумцем, ангелом и шайтаном. Услышав скрип железной двери, эхо которого волной прокатилось по коридору, парикмахер Камо выпрямился.

– Это за мной идут, – сказал он.

Я поднялся с места, подошел к двери камеры и заглянул в небольшую прорезь на уровне глаз, пытаюсь разглядеть людей, приближающихся со стороны железной двери. На мое лицо упал электрический свет, проникающий из коридора. Никого не было видно. Должно быть, они ждали, стоя у двери. Свет слепил глаза, я прищурился. Потом бросил взгляд на противоположную камеру. Интересно, жива ли еще девушка, которую сегодня бросили туда, словно раненую лань?

Когда все звуки в коридоре стихли, я снова сел и положил свои ноги поверх ног Доктора и парикмахера Камо. В попытке согреться мы сгрудились еще теснее, обдавая лица друг друга жарким дыханием. Умение ждать тоже искусство. Нам не хотелось говорить, мы прислушивались к еле различимым шорохам в коридоре.

Доктор сидел в этой камере уже две недели, а я попал сюда через день после него. Когда меня бросили в камеру, всего в крови, он не только протер мои раны, но и укрыл меня своим пиджаком. Каждый день за нами приходили одни и те же люди, завязывали глаза, уводили на допрос и через несколько часов приволакивали назад в полубеспамятстве. А парикмахер Камо ждал своей очереди уже три дня. С тех пор как он здесь оказался, его так и не отвели на допрос и даже ни разу не произнесли его имени.

Поначалу камера – метр в ширину и два в длину – казалась нам крошечной, но мы уже успели к ней привыкнуть. Пол и стены – бетонные, дверь – серая, железная. Внутри – ничего. Мы сидели на полу, а когда затекали ноги, вставали и принимались ходить по кругу. Порой, услышав чей-то далекий вопль, мы поднимали головы и переглядывались, всматривались в лица друг друга, едва обозначенные тусклым светом из коридора. По большей части мы спали или, чтобы хоть чем-то себя занять, разговаривали. Было очень холодно, и с каждым днем у нас оставалось все меньше сил.

Снова раздался ржавый скрежет железной двери. Следователи ушли, не забрав с собой никого из заключенных. Чтобы удостовериться в этом, мы некоторое время молчали, прислушиваясь. Когда железная дверь закрылась, коридор погрузился в безмолвие.

– Не забрали меня, ублюдки, никого не забрали и ушли, – пробормотал, тяжело дыша, парикмахер Камо. Поднял голову, посмотрел в темноту под потолком, а потом снова съежился на полу.

Доктор попросил меня продолжать.

– Итак, две монахини шли сквозь метель, – начал было я, но тут парикмахер Камо схватил меня за руку:

– Эй, парень, может, расскажешь какую-нибудь историю получше? Здесь на бетоне и так холод собачий, чтоб мне пусто было, а ты все про снег да про метель!

Кем считал нас Камо – друзьями или врагами? Отчего так презрительно смотрел в нашу сторону? Может, разозлился, услышав от нас, что все три дня говорил во сне? Если бы ему разок завязали глаза и увели на допрос, если бы располосовали кожу до мяса да распяли на кресте, он научился бы нам доверять. Пока же ему приходилось довольствоваться нашими рассказами и видом наших израненных тел. Доктор осторожно положил руку ему на плечо:

– Поспи, Камо.

– В Стамбуле стояла жара. Такая жара, какой в городе никогда еще не бывало, – снова заговорил я. – На самом деле это длинная история, но я расскажу ее вкратце. В полночь две монахини пустились в путь из больницы Святого Георгия в Каракее, чтобы принести радостные вести в церковь Святого Антония. На карнизах щебетали птицы. Багряник готов был распустить цветы среди зимы, бродячие собаки изнывали от зноя. Вот ты, Доктор, когда-нибудь видел, чтобы у нас зимой воздух был раскален, как в пустыне? Две монахини – одна пожилая, другая помладше – еле брели по такой жаре. У Галатской башни молодая сказала пожилой, что за ними еще от начала улицы увязался какой-то человек, и та ответила: у мужчины, преследующего их по безлюдной улице в такой поздний час, на уме может быть только одно. Он хочет покуситься на их честь. Перепуганные монахини ускорили шаг. Вокруг не было ни души: жара заставила всех спуститься поближе к воде, к Золотому Рогу и Галатскому мосту, а сейчас, в полночь, улицы и подавно обезлюдели. Молодая монахиня сказала: «Мужчина все ближе, он нас догонит, еще прежде чем мы успеем подняться на вершину холма». – «Раз так, побежали», – ответила пожилая. А бежать в длинных рясах из

плотной материи ой как непросто. Все лавки, попадавшие на пути, были закрыты. Обернувшись, молодая монахиня воскликнула: «Он тоже побежал!» Сестры уже начали задыхаться, пот тек по спинам. «Давай, пока он нас не поймал, – пропыхтела пожилая монахиня, – разбежимся в разные стороны. Так, по крайней мере, хотя бы одна из нас спасется». И, не зная, что ждет их впереди, они нырнули в два разных переулка. Молодая монахиня – она побежала направо – решила больше не оглядываться. Ей вспомнилась история из Священного Писания – о несчастных, что обернулись, чтобы последний раз издалека посмотреть на родной город. Дабы не повторить их судьбу, молодая монахиня смотрела только вперед и все бежала, бежала по узким темным улочкам, то и дело сворачивая в разные стороны. Правы были те, кто называл этот день проклятым! Правы были экстрасенсы, говорившие по телевизору о том, что такая жара посреди зимы не к добру, и не зря все городские сумасшедшие весь день гремели пустыми жестянками! Через некоторое время молодая монахиня сообразила, что не слышит ничего, кроме стука собственных туфель по мостовой, и остановилась на перекрестке. Прислонившись спиной к стене, она осмотрелась и поняла, что улица эта ей незнакома, – она заблудилась. Вокруг – никого, только притулилась рядышком бродячая собака. И молодая монахиня тихо побрела вдоль домов, а собака – за ней. В общем, это длинная история, но я ее рассказываю вкратце. В конце концов молодая монахиня добралась до церкви Святого Антония и узнала, что пожилой там нет. Она поспешила рассказать, что с ней приключилось. Поднялся переполох. Несколько человек уже собирались отправиться на поиски пропавшей сестры, как вдруг дверь открылась и вошла она, собственной персоной, запыхавшаяся и растрепанная. Рухнув на табурет, она немного перевела дух и выпила залпом две кружки воды. Ее молодой подруге не терпелось узнать, что же с ней произошло. И пожилая монахиня поведала, что бежала, бежала, сворачивала туда-сюда, но в конце концов поняла: сейчас ее догонят. «И что же ты тогда сделала?» – спросила молодая. «Остановилась на перекрестке. Мужчина тоже остановился». – «А потом?» – «Я подняла рясу». – «А потом?» – «Мужчина спустил штаны». – «И?..» – «Я снова пустилась бежать». – «Что же было дальше?» – «Да ничего особенного. Женщина с подобранной юбкой, знаешь ли, бежит быстрее, чем мужчина со спущенными штанами».

Парикмахер Камо рассмеялся. Мы впервые услышали его смех. Его тело слегка подрагивало, как будто он спал и видел во сне каких-то странных, но забавных тварей. Я повторил последнюю фразу: «Женщина с подобранной юбкой бежит быстрее, чем мужчина со спущенными штанами». Смех парикмахера Камо превратился в хохот, и я протянул руку, чтобы зажать ему рот. Он, вдруг опомнившись, уставился на меня. Если на наши голоса прибегут охранники, нас

или изобьют, или в наказание заставят часами стоять у стены. А нам вовсе не хотелось таким образом коротать время, свободное от пыток.

Парикмахер Камо встал и прислонился к противоположной стене. Он тяжело дышал, лицо его снова обрело прежнее серьезное выражение. Он походил на пьяницу, который ночью свалился в сточную канаву, а наутро, протрезвев, не может понять, куда угодил.

– Сегодня мне снилось, что я горю, – заговорил парикмахер Камо. – Я был на самом дне ада, и все вокруг подбрасывали дрова в огонь, на котором я поджаривался, а я все мерз, чтоб мне пусто было. Другие грешники так кричали от боли, что у меня лопались барабанные перепонки. Огонь пылал все жарче и жарче, но мне было мало. Вас там не было: я вглядывался в лица, но не видел ни Доктора, ни студента. Мне хотелось, чтобы пламя полыхало еще сильнее, и я молил об этом, ревел, словно скотина, когда ее режут. Поджаривающиеся вокруг богачи, ростовщики, скверные поэты и матери, не любившие своих детей, смотрели на меня сквозь огонь. Но мое раненое сердце все никак не обращалось в пепел, а моя память не испарялась. Как ни ярилось пламя, способное расплавить железо, я все еще помнил свое проклятое прошлое. «Раскайся!» – кричали мне. Да разве этого достаточно, разве ваши души обрели избавление, когда вы раскаялись? Вы все, обитатели ада! Вы, ублюдки! Я был самым обычным парикмахером, зарабатывал на хлеб себе и жене, любил читать книги, вот только детей у меня не было. В наши последние общие дни, когда все в жизни пошло не так, жена ни единого дурного слова мне не сказала. Мне легче было бы, если б она меня проклинала, но нет. Однажды ночью, напившись, я высказал ей все, о чем размышлял трезвым. Сказал, что я несчастный, жалкий человек. Я думал, она закричит, будет унижать меня. Попытался поймать ее взгляд, ожидая увидеть в нем презрение, но она отвернулась, и на лице ее читались только печаль и страдание. Самое плохое в женщинах – это то, что они всегда, всегда лучше нас. И мать моя такая же была. Вы сейчас смотрите на меня как на идиота, потому что я все это говорю, а мне плевать.

Парикмахер Камо погладил бороду, повернулся к двери, и на его физиономию упал свет из прорези. Он три дня не мылся, но явно и на воле не очень-то заботился о чистоте: когда его только привели, волосы уже слипались от грязи, а ногти требовали стрижки, и пахло от него кислым хлебом. К запаху Доктора я привык, своего не ощущал, а вот запах Камо постоянно напоминал о его присутствии. Промолчав три дня, теперь парикмахер говорил взхлеб:

– Мы с женой познакомились в тот самый день, когда я открыл свою парикмахерскую. Она привела стричься младшего брата, который на следующий день должен был пойти в первый класс. Я спросил мальчика, как его зовут, и сам представился: я – Камиль, но все называют меня Камо. «Хорошо, Камо», – сказал он. Я загадывал ему загадки, рассказал несколько смешных историй из своих школьных лет. А она тихо сидела в сторонке. Когда я заговорил с ней, она рассказала, что недавно окончила лицей и шьет на дому. Разговаривая, она избегала встречаться со мной глазами и разглядывала то фотографию Девичьей башни[5 - Девичья башня – сооружение на острове вблизи азиатского берега Босфора.] на стене, то горшочек с базиликом, то зеркало в синей раме, ножницы и бритвы. Смочив волосы мальчика одеколоном, я протянул флакон ей и брызнул немного одеколона в ее протянутые ладошки, она поднесла их к лицу и, вдохнув аромат, закрыла глаза. В тот момент я представил себе, что она смотрит на меня сквозь прищуренные веки, и мне захотелось, чтобы до конца жизни на меня не смотрели ничьи другие глаза. И когда она вышла из лавки, благоухая лимонным одеколоном, я застыл на пороге, глядя ей вслед. Я даже не спросил, как ее зовут. А звали ее Махизер. В тот день она вошла в мою жизнь в этом своем платье с цветочным узором, и я был уверен: навсегда.

Тем вечером я снова пошел к старому колодцу на заднем дворе дома, где прошло мое детство. Оставаясь в одиночестве, я любил, бывало, прилечь рядом с ним и смотреть вниз, в темноту. Я забывал обо всем на свете, не замечал даже, что уже село солнце. Колодезная тьма была неподвижной, безмятежной, священной. Запах сырости пьянил, вызывал приятное головокружение. Когда кто-нибудь говорил, что я похож на своего отца, которого мне не довелось увидеть, или когда мать вдруг называла меня не Камо, а Камилем, его именем, я со всех ног бежал к колодцу. Свесив голову пониже, я вдыхал пропитанный темнотой воздух и представлял себе, как ныряю и погружаюсь на самое дно. Мне хотелось забыть обо всем: о матери, об отце, о своей маленькой жизни. Ублюдки! Мать осталась беременной, когда ее жених, мой отец, покончил с собой, и назвала меня его именем. Семья от нее отвернулась. Помню, даже когда я уже подросток настолько, что начал играть с ребятами на улице, она порой прижимала меня к груди, клала свой сосок мне в рот и плакала. И я не чувствовал вкуса молока – только вкус ее слез. Чтобы перетерпеть это, я зажмуривался и начинал загибать пальцы. Однажды вечером, найдя меня у колодца, мать подбежала и схватила меня за руку, и в этот момент камень, на который она наступила, сорвался с места. Ее крик до сих пор звенит у меня в ушах. Тело достали из колодца уже в полночь. А меня потом отправили в сиротский приют, где у каждого ребенка есть своя длинная история. Каких только снов мне там не снилось...

Камо окинул нас взглядом, желая убедиться, что мы внимательно его слушаем.

– Когда мы с Махизер обручились, я дарил ей романы и сборники стихов. Учитель литературы в лицее говорил нам, что у каждого человека есть собственный язык: один, желая открыть свои чувства, дарит цветы, другой – книги. Махизер сидела дома, кроила ткани, шила платья, а иногда писала на маленьких клочках бумаги стихи и просила брата отнести мне. Я клал их в коробочку, которую хранил у себя в парикмахерской, в нижнем ящике, где лежало душистое мыло. Дела мои шли хорошо, постоянных клиентов становилось все больше. Случилось так, что одного из них, журналиста, застрелили на пороге моей парикмахерской, когда он, улыбаясь, выходил из нее после бритья. Он рухнул на землю, а нападавшие – их было двое – подбежали к нему и с криком «Что, страна тебе наша не нравится? Получай, сукин сын!» выстрелили еще раз, в голову. На следующий день к месту, где еще видны были пятна крови убитого, пришло много людей, чтобы его помянуть. Я пошел за ними на похороны. Сам я политикой не интересовался и за всю свою жизнь испытывал теплые чувства лишь к одному человеку, с ней связанному. Это был наш лицейский учитель литературы, Хайаттин-ходжа[6 - Ходжа – принятое в Турции вежливое обращение к учителю.]. Он никогда не говорил на подобные темы, но мы видели среди его бумаг социалистические журналы. В политику я не верил абсолютно: как она может изменить мир, если материалом для нее служат люди? Те, кто утверждает, будто общество можно изменить так, чтобы все жили в достатке и счастье, не знают людей. Они не принимают в расчет человеческий эгоизм, чтобы им пусто было. Корыстолюбие, жадность и стремление обставить других – в самой природе человека. Когда я говорил об этом, мои клиенты возражали и с жаром пытались меня переубедить. «Ты же любишь стихи, как ты можешь так думать?» – вопрошал один из них, ожидая своей очереди, а потом встал, подошел к зеркалу, возле которого я прикрепил листок со стихами из «Цветов зла»[7 - «Цветы зла» – сборник стихотворений французского поэта-символиста Шарля Бодлера (1821–1867), выходивший с 1857 по 1868 год в трех редакциях.], и прочитал вслух несколько строчек. Насилие на улицах все не прекращалось, в соседних кварталах тоже убили несколько человек. Однажды в парикмахерскую вбежал юноша, умолявший меня спрятать его пистолет, – за ним гнались полицейские. Но если я кому и помогал, то лишь по стечению обстоятельств, а до политики мне дела не было. Я ни во что не верил, мне просто хотелось накопить денег, купить себе дом, обзавестись детьми и спать по ночам рядом со своей Махизер. Но ей никак не удавалось забеременеть. На второй год нашей супружеской жизни мы пошли к врачу, и выяснилось, что дело во мне.

Однажды вечером, закрывая парикмахерскую, я увидел, как трое парней напали на прохожего. Гляжу – а это мой учитель литературы, Хайаттин-ходжа! Я выхватил нож и бросился на них. Всем от меня досталось, кому руку порезал, кому – лицо. Они такого не ожидали, пустились наутек и исчезли в темноте. Хайаттин-ходжа обнял меня, а потом мы, разговаривая, добрались до Саматьи и там зашли в одно мейхане[8 - Мейхане – питейное заведение.]. Хайаттин-ходжа рассказал, что после нашего лица при сиротском приюте сменил еще несколько школ, что уроков у него сейчас немного, а бо?льшую часть времени он посвящает политике. Его очень тревожило будущее нашей страны. Он слышал, что я поступил в университет, на отделение французского языка и литературы, а вот о том, что я оттуда ушел со второго курса, потому что вынужден был зарабатывать себе на хлеб, не слыхал. Узнав об этом, расстроился. Когда он спросил, не угас ли во мне интерес к поэзии, я пробормотал несколько заученных еще на его уроках строчек из Бодлера. По взгляду Хайаттина-ходжи было видно, что он мной гордится. Он напомнил мне, что в школе я занял первое место на конкурсе, читая стихи, и мы чокнулись рюмками с раки[9 - Раки – турецкий алкогольный напиток, анисовая водка.]. Узнав, что я женат, Хайаттин-ходжа обрадовался, но сам он по-прежнему был холост. Сознался, что несколько лет назад влюбился в одну свою ученицу, но не открыл ей этого, а когда узнал, что она вышла замуж, окончательно смирился со своим одиночеством. Мы пили до самого утра и читали стихи: я – те, что помнил наизусть, он – те, что писал о девушке, в которую был влюблен. Не помню, как я добрался до дома, и только на следующий день, протрезвев, вспомнил, что в стихах Хайаттина-ходжи упоминалось имя Махизер.

Через месяц, когда его хоронили, я не пошел на похороны. Его убили на пороге школы выстрелом в голову. В бумагах покойного нашли посвященное мне стихотворение об отважных рыцарях, скачущих сквозь бурю, об этом я узнал от одного из его коллег. В тот вечер я обнял Махизер и попросил: «Не покидай меня!» – «Да зачем же мне тебя покидать, глупый?» – удивилась она. Уходя из парикмахерской, я захватил с собой коробочку, которая столько лет пролежала в ящике с мылом; теперь я открыл ее, достал стихи, которые Махизер писала для меня, когда мы были помолвлены, и попросил, чтобы она почитала их мне. Листки пахли розой и чуть-чуть лавандой. Когда Махизер начала читать, я расстегнул пуговицы ее ночной рубашки и взял в рот сосок. Мне хотелось молока, но в рот попадали только стекающие по ее груди слезы. Прошло три месяца. Однажды вечером Махизер снова заплакала. Запинаясь, она сквозь слезы спросила меня: кто убил Хайаттина-ходжу? Он не сделал мне ничего плохого, а между тем я несколько дней бормочу во сне, что он получил по заслугам. Я спросил, называл ли другие имена. «Были и другие?» – воскликнула

Махизер. Я поклялся памятью матери, что не имею к этому делу никакого отношения и мои разговоры во сне были бессмысленным бредом. Потом схватил пальто и выскочил на улицу, на холод. Эх ты, моя немощная душа! Старая дура! Раньше ты была крылата и пылала огнем. Стоило тебе почуть шпоры надежды, и ты вставала на дыбы. Эх ты, еле дышащая развалина! Никуда не годная кляча! Ничто в этом мире не может пылать вечно. Душа моя, жалкая, израненная и дряхлая! Не почувствовать тебе больше вкуса жизни, не познать неукротимой бури любви... Не помню, как я пришел к колодцу, поднял камни и открыл крышку, – я был не в себе. Свесил голову в колодезный мрак и закричал. Мама! Зачем ты поила меня своими слезами вместо молока, когда давала мне грудь? Мама, зачем, прижимая к себе мое худенькое тельце, ты шептала не мое имя, а имя моего покойного отца? Я ведь понимал, что, называя меня не Камо, а Камилем, ты думала о нем. И в тот последний свой вечер, найдя меня здесь, ты произнесла это имя. Я знал, что камень, на который ты наступила, плохо держится. Упадешь, мама! Ты все говорила, что я обязан жизнью отцу, что я за него живу. Наказание господне! Мертвые мертвы. Свет – очень скверная штука, вот чего ты не понимала. В нем мы видим все только с внешней стороны. Он не дает нам проникнуть в суть вещей...

Последние слова парикмахер Камо еле слышно пробормотал, словно говорил сам с собой. Опустил голову, а затем резко откинул ее назад, ударившись о стену. Доктор сразу понял, в чем дело.

– Эпилептический припадок! – сказал он, повалил Камо на пол и просунул ему между зубов, чтобы не укусил себе язык, ломоть хлеба, припрятанный нами для новичка, которого могли привести в камеру в любой момент.

Я схватил парикмахера за ноги. Тот ничего не соображал, дергался, пускал пузыри изо рта.

Тут дверь камеры распахнулась, и над нами, словно великан, навис охранник:

– Что у вас тут происходит, уроды?

– У нашего товарища припадок падучей, – ответил Доктор. – Чтобы привести его в сознание, нужно дать ему понюхать что-нибудь пахучее, вроде одеколона или лука.

Охранник сделал шаг вперед.

– Если ваш паршивый товарищ сдохнет, дайте знать. Я унесу труп, – сказал он, однако все-таки наклонился и посмотрел в лицо Камо, желая убедиться, что Доктор не врет. От него шел волглый запах крови и плесени, смешанный с перегаром, – ясно было, что до дежурства он пил. Постояв еще немного, он отступил за порог и сплюнул.

Пока охранник закрывал камеру, я успел разглядеть в прорези противоположной двери лицо девушки, которую привезли сегодня. Ее нижняя губа была рассечена, левый глаз заплыл. Цвет ран подсказывал, что, хотя здесь она первый день, пыткам ее подвергают уже давно. Когда дверь закрылась, я лег, руками обхватив ноги Камо, и прижался щекой к бетонному полу, чтобы следить в щель под дверью за ногами охранника. Тот повернулся к девушкиной камере и стоял не шевелясь. Неужели девушка не отпрянула от прорези, не скрылась в темноте? Охранник не сквернословил, не стучал в дверь, пугая заключенную, не входил внутрь, чтобы отшвырнуть ее к стене. Камо тем временем то замирал, то снова начинал дергаться и хрипеть, пытаясь освободить ноги. Руки он раскинул в стороны, уперся ладонями в стены камеры. Потом дернулся последний раз и затих. Охранник ушел, оставил девушку в покое. Когда его шаги затихли в глубине коридора, я встал и посмотрел в прорезь. Девушка по-прежнему стояла перед своей дверью. Я кивнул ей, но она даже не шевельнулась, а вскоре отошла вглубь камеры, исчезла в темноте.

Доктор сидел, вытянув ноги и прислонившись спиной к стене, голова Камо лежала у него на коленях.

– Теперь он некоторое время поспит.

– Он нас слышит? – спросил я.

– Одни больные в таком состоянии слышат, что происходит вокруг, другие – нет.

– Зря он нам все о себе рассказывает. Надо ему намекнуть, что это опасно.

– Да, лучше ему остановиться на том, что уже сказано, – проговорил Доктор, обвел Камо ласковым взглядом, как будто на коленях у него лежал не больной, а его собственный ребенок, вытер ему пот со лба и пригладил растрепавшиеся

волосы. – Как там девушка напротив?

– У нее на лице старые следы от побоев. Должно быть, ее уже давно пытаются.

Я всмотрелся в спокойное лицо Камо. Дивившийся на него клиент парикмахерской был прав: как такой человек может любить стихи? Сейчас он спал, словно наигравшийся за день на улице усталый ребенок. И снилось ему наверняка, что он лежит на земле у колодца и смотрит вниз, в темноту. Потом осторожно, цепляясь за влажные камни, – хотя нет, камням он не доверяет, – по веревке он спускается вниз и погружается в воду. Весь окружающий его мир стерло, словно тряпкой, и он сам, опустившись в колодец, словно бы стал колодцем, погрузившись в воду, стал водой.

– Сколько я так лежал без сознания? – пробормотал Камо, приоткрыв глаза.

– Полчаса, – ответил Доктор.

– В горле пересохло.

– Вставай потихоньку.

Камо приподнялся, сел, прислонившись спиной к стене, и стал пить из бидона с водой, который поднес к его губам Доктор.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил тот.

– Одновременно и усталым, и отдохнувшим, чтоб мне пусто было. Надо было вам сказать о моей болезни. Впервые это со мной случилось вскоре после смерти матери, весной. Продолжалось недолго, через несколько недель я выздоровел. Прошое, говорят, возвращается. С тех пор как от меня ушла Махизер, падучая вернулась.

– Здесь мы с Демиртаем за тобой присмотрим. Слушай, Камо, я должен сказать тебе кое-что важное. Интересные беседы – это, конечно, дело хорошее, но в тюрьме есть свои правила. Мы не можем заранее знать, кто из нас, не выдержав пыток, выдаст следователям все свои тайны или выложит все, что здесь услышал. Так что давай будем разговаривать, чтобы скоротать время, но

секреты свои оставим при себе. Хорошо?

– Правду о себе, значит, совсем не будем друг другу говорить? – спросил Камо. Ничего общего с тем жестким, грубым человеком, каким он выглядел недавно. Сейчас перед нами был покладистый больной.

– О тайнах своих нам не рассказывай, вот и все, – уточнил Доктор. – Мы не знаем, почему ты здесь оказался, и знать не хотим.

– Разве вам не интересно, что я за человек?

– Послушай, Камо, если бы мы были на воле, я бы не захотел ни беседовать с тобой, ни вообще встречаться. Но здесь мы во власти боли, в объятиях смерти. Мы не можем позволить себе судить друг друга. Нам нужно друг друга жалеть и поддерживать. Мы здесь в самом беззащитном положении, в котором только может оказаться человек, не забывай.

– Но вы меня совсем не знаете, – упрямылся Камо. – Я вам еще ничего не рассказал.

Мы с Доктором переглянулись, но ничего не сказали.

Через некоторое время парикмахер Камо снова заговорил, с видимым тщанием подбирая слова, словно взвешивая их:

– Моя память, которая сейчас меня подводит, похожа на жадного ростовщика. Копит слова и прячет их. Вот ты, студент, знаешь, что фраза из истории, которую ты недавно рассказал, принадлежит Конфуцию? У меня в парикмахерской над зеркалом, рядом с турецким флагом, висел постер с полуголой девушкой, и внизу там была эта фраза. Девушка на плакате куда-то бежала, подобрав цветастую юбку и обнажив свои длинные ноги, и при этом смотрела сконфуженно на меня и ожидающих клиентов. Так вот между ее ногами и было написано, что женщина с подобранной юбкой бежит быстрее, чем мужчина со спущенными штанами. Порой кто-нибудь из посетителей, ждущих своей очереди, заглядевшись на красавицу, начинал думать, что утверждение это неверно, что, если бы эта девушка повстречалась ему в реальной жизни, они были бы безмерно счастливы вместе, позабыли бы обо всем на свете. Как-то один мой клиент, писатель, глядя на плакат, прошептал вслух: «Ах, Соня!» Мы

все это услышали и решили, что он знает имя девушки. Когда подошла его очередь бриться, писатель пустился со мной в длинный разговор и под конец стал рассуждать обо мне самом. Он заявил, что душой я похож на русского. И, прочитав удивление на моем лице, он напомнил мне слова, которые слышал от меня всякий раз, когда приходил в парикмахерскую, так что они крепко засели в его памяти.

По его мнению, доведись мне родиться в России, я был бы кем-нибудь из Карамазовых, или вел бы жизнь Подпольного человека, или впал бы в самое жалкое состояние, как Мармеладов, отец Сони. Все, что писатель рассказывал об этих персонажах Достоевского, можно было бы сказать и обо мне. В этих людях Достоевский отобразил одно и то же состояние души. В «Преступлении и наказании» им наделяет Мармеладов, оно господствует в первой части «Записок из подполья» и во всем романе о братьях Карамазовых. Различия между персонажами этих произведений невелики, но все же достаточно значительны, чтобы увлечь их на совершенно разные жизненные пути. Мармеладов, отец Сони, – опустившийся человек, который сознает, насколько он жалок, и открыто хулит самого себя, себе же в наказание. Это страдалец, покоровшийся судьбе. Соня очень любит своего несчастного отца. Ах, эта прекрасная Соня, живущая в нищете и торгующая своим телом! Кто бы не пошел на самые страшные преступления ради нее – только бы знать, что в конце концов заслужишь право быть ею любимым! Что касается Подпольного человека, то он, преисполненный гневом, свое убожество выставял напоказ для того, чтобы вскрыть, как убоги другие. Его душу бредило яростное желание находить себе подобных и становиться для них своего рода зеркалом. Карамазовы – совсем другое дело. Они в раздоре и с самими собой, и с другими людьми, и с самой жизнью. Они не чувствуют себя жалкими, как Мармеладов, и не видят в себе орудие изобличения чужого убожества, как Подпольный человек. Убожество Карамазовых – судьба, от которой не уйти, постоянно гноющаяся рана. Они не желают принимать жизнь такой, какова она есть, воюют с ней и, страдая, стараются запачкать жизнь своей кровью. И вот эта самая жизнь теперь открыла новую страницу и для меня. Чтоб ей пусто было! Не смотрите на меня так сурово, словно на грешника в адском пламени. Три дня я слушал вас, ваши истории и стоны после пыток. А теперь вы послушайте меня.

Одарив нас презрительным взглядом, Камо поднес к губам бидон с водой, сделал несколько глотков и снова заговорил:

– Я не знаю, что со мной будет, удастся ли мне выйти отсюда невредимым, или же меня, как и вас, будут пытаться. Боль берет в плен тело, а страх – душу, и человек продает душу, чтобы спасти тело. Я не боюсь. И все же я не буду запираюсь под пытками и открою следователям свои тайны – те, что не открыл вам. Я расскажу все, что они захотят, в ответ на их вопросы обнажу всю свою душу. Как портной, вывернув наизнанку пиджак, отпаривает подкладку, так и я выверну перед ними все свое нутро. Я поведаю больше, чем им хочется услышать. Сначала они будут ловить каждое мое слово и на всякий случай тщательно записывать: вдруг пригодится? Однако через какое-то время мои речи начнут вызывать у них беспокойство. Они угадают в моих словах правду о них самих – правду, которой они не хотят знать. Больше всего в этой жизни человек боится самого себя. Вот и они испугаются и попробуют принудить меня к молчанию, – те самые люди, что пытками вытягивали из меня признания, теперь сделают все, чтобы я заткнулся: распнут на кресте, будут бить электрическим током, живого места на мне не оставят. Истина обернется для них таким же кошмаром, как и для меня. Я расскажу им все о себе и устрою очную ставку с теми сторонами их души, которых им не хочется видеть. Они отшатнутся в ужасе, словно прокаженный, впервые увидевший себя в зеркале, и, не в силах изменить себя, единственный выход усмотрят в том, чтобы разбить зеркало, иными словами, переломать мне кости и превратить лицо в кровавую кашу. Но даже если мне отрежут язык, это им не поможет: от моих стонов они оглохнут, их разум будет прикован к одной-единственной истине. Даже у себя дома они станут просыпаться среди ночи и в один присест выпивать бутылку крепчайшего пойла, но и это их не спасет. Им некуда будет бежать: истина – внутри человека, в самой главной его артерии, в его аорте. Так что им придется либо признать истину, либо перерезать себе аорту. У каждого из них есть нежная, любящая жена; жены будут обнимать их, пытаюсь утешить, примутся совать им в дрожащие руки зажженные сигареты. Они ужасно боятся узнать истину о себе. Теперь я понимаю, почему меня уже третий день не ведут на допрос. Они меня боятся.

Парикмахер Камо говорил так, что его слова словно бы доносились из неведомой, пустой и гулкой глубины. Он долго скрывался, много страдал, был изранен, но оставалось загадкой, скрывался ли он потому, что изранен, или раны свои получил, скрываясь. Темнота, столь им любимая, душила меня. Каждый раз, когда мне завязывали глаза и проводили через железную дверь, я покидал знакомый мир. Пытался запоминать повороты, тщился найти опору в россыпи разрозненных слов, засевших в моей голове, и не постигал, как можно думать в темноте. А ведь привычный мир был совсем рядом, и в него так хотелось вернуться!

Камо прикрыл глаза. Вид у него был усталый. Даже тот слабый свет, что проникал в нашу камеру, тяготил его; может быть, поэтому его постоянно клонило в сон.

– Только один раз мама не рассердилась, застав меня у колодца, – снова заговорил Камо. – Так было в тот день, когда она увидела во сне горящие дрова. Это был добрый знак: разрешилась, стало быть, какая-то из донимавших ее проблем. Странное дело, я впервые увидел такой сон только здесь, в камере. Мое прошлое застыло и окостенело, и потому непонятно, какая такая проблема у меня могла разрешиться.

– Прошлое минуло, минет и настоящее, – ответил Доктор. – Твой сон говорит, что ты выйдешь отсюда и снова будешь свободен.

– Свободен? С тех пор как я потерял Махизер, для меня все изменилось, все разладилось.

– Ты сам себя мучаешь. У всех в жизни бывают черные полосы. – Доктор немного помолчал и продолжил: – Здесь нужно думать о хорошем, Камо. Представь себе, будто мы сейчас не тут, а, скажем, на набережной в Ортакёе, любимся видом на азиатский берег и ведем беседу.

Доктору нравилось обращать наш взор вовне, в мир за стенами тюрьмы. Я перенял это у него. Представлять себе жизнь на воле было гораздо приятнее, чем обсуждать свои горести. В камере, куда заперли наши тела, время застыло на месте, но, когда наш разум покидал ее, время возобновляло свое движение. Наш разум сильнее тела, это доказанный медицинский факт, говорил Доктор. Так что мы часто воображали, будто оказались на воле, например, прогуливаемся по набережной среди веселых, беззаботных людей. Машем руками девушкам, под громкую музыку исполняющим танец живота на палубе яхты, что скользит вдоль набережной в Ортакёе. Проходим мимо обнимающихся парочек. Когда солнце начинает клониться к горизонту, Доктор покупает с лотка пакет слив и, улыбаясь, протягивает мне.

На прошлой неделе меня однажды притащили в камеру еле живым. Во рту так пересохло, что невозможно было разобрать мое бормотание. Думая, что мне хочется пить, Доктор прислонил меня к стене и попытался напоить, а я, открыв глаза, заявил, что хочу не воды, а слив. Мы потом два дня смеялись, вспоминая

эти мои слова.

– Тебе, может быть, тоже хочется слив? – спросил Доктор у Камо.

Но тому эта история не понравилась. Не настроен он был на нашу волну.

– Прошое, Доктор, – пробормотал он. – Наше прошое...

Доктор опустил руку, которую держал в воздухе, словно протягивая Камо пакет со сливами.

– Наше прошое осталось в недостижимой дали. Мы должны думать не о нем, а о завтрашнем дне.

– Знаешь ли ты, Доктор, что прошого не может изменить даже Создатель? Всемогуший Бог повелевает настоящим и будущим, но ничего не может сделать с прошедшим. Даже он бессилен хоть что-нибудь сотворить с прошлым, что же говорить о нас?

Доктор впервые посмотрел на Камо с жалостью. Потом улыбнулся:

– Все мои знакомые парикмахеры любят поговорить, но они болтают о футболе или о женщинах. А ты? Случись мне оказаться твоим клиентом, хватило бы одного раза, больше бы я к тебе не ходил. Возможно, парикмахерам не следует учиться в университетах, иначе культура мужских бесед о футболе и женщинах просто-напросто исчезнет.

– Если бы я и не читал книг, все равно задавался бы теми же вопросами.

– Подумай вот о чем, Камо. Ты все твердишь о своем несчастливом детстве – но ведь после знакомства с будущей женой тебе удалось сбросить с себя груз прошлого. Так же будет и на этот раз. Завтра ты найдешь новое счастье и забудешь былые дни.

– Новое счастье?

Доктор глубоко вздохнул, потер заоченевшие руки и посмотрел куда-то вверх, словно был у себя в кабинете и раздумывал о том, как сладить с упрямым пациентом. Тут из коридора раздался громкий скрип железной двери.

Мы переглянулись. До нас донеслись веселые голоса следователей, и мы все превратились в слух.

– Ну как, раскололся?

– Немного осталось, через несколько дней закончим.

– Что применяли?

– Ток, дыбу, воду под давлением.

– Имя, адрес?

– Это мы знаем.

– Крупная рыба или так себе?

– Этот старый хрыч – крупная.

– Какая камера?

– Сороковая.

Это был номер нашей камеры.

Мы прижались друг к другу оледеневшими ступнями, пытаясь напоследок подзарядиться чужим теплом. Можно было уйти и не вернуться. Или уйти в здравом уме, а вернуться сумасшедшим, превратиться из человека в животное с раздробленным на куски сознанием.

– За мной идут, – проговорил Камо, посмотрев на прорезь в двери. – Самое время.

Звук шагов приближался, и вот дверь открылась. В дверном проеме показались два охранника, которые с трудом тащили под мышки крупного пожилого человека, перепачканного кровью. Его голова безвольно болталась.

– Вот вам еще один в компанию.

Охранники закрыли дверь и ушли.

– Он весь окоченел от холода, – сказал Доктор.

Проверил, нет ли у новоприбывшего сильного кровотечения или перелома, приподнял веки и попытался в полумраке взглянуть в глаза. Потом стал растирать ему ногу. Я взялся за другую. Она была холодна как лед.

– Давайте я лягу на пол, а вы его положите сверху, – предложил парикмахер Камо. – Надо бы его с бетона убрать.

Мы с Доктором подняли незнакомца, уложили на спину Камо, а сами легли по бокам, прижавшись поплотнее. Говорят, в старину люди, чтобы согреться, спали в обнимку с коровами или собаками. Тюрьма обратила для нас время вспять, вернула в самое начало истории. Прижавшись к незнакомцу, мы пытались вернуть его к жизни.

– Как ты, Камо?

– Я в порядке, Доктор. Такое впечатление, что этого бедолагу, перед тем как притащить сюда, голым держали под снегом.

– Под снегом?

– Ну да, в тот день, когда меня поймали, снег шел с самого утра.

– Стало быть, в этом году зима пришла рано. А когда меня взяли, стояла прекрасная солнечная погода.

Пока Доктор и парикмахер разговаривали, я молчал, только слушал. Не находил, куда вставить слово. Камо вот уже три дня то делал вид, что не замечает меня,

то ругал за что-нибудь. Иногда, обращаясь ко мне, он называл меня студентом, но чаще – мальчиком. Но мне уже было восемнадцать лет, и я хотел, чтобы он относился ко мне хоть с толикой того уважения, какое выказывал Доктору. Когда меня схватили, я пытался представить себе, что меня ждет, но никак не мог подумать, что придется делить камеру с таким странным субъектом. Боль безгранична, и остается только ждать, сможешь ты выдержать ее или нет, – а вот как вести себя с Камо, я не мог понять, сколько ни старался. Один из тех полицейских в штатском, что схватили меня и затолкали в машину, тоже все называл меня мальчиком. «Пожалеешь, мальчик. Лучше говори, когда спрашивают!» – твердил он, выкручивая мне пальцы. «Я не мальчик», – ответил я, и тогда он обеими руками схватил меня за шею и начал душить. Другие полицейские его остановили – наверное, это была одна из их обычных игр. Они знали, как меня зовут, и хотели выяснить, с кем я должен был встретиться. Я был поражен – не столько тем, что они знали, кто я такой, сколько тем, что им известно, где и на какое время назначена встреча. «Я не мальчик, а студент. Иду в университет и понятия не имею, о какой встрече вы говорите». – «А почему же ты тогда бежал?» (Заметив слежку, я свернул за первый попавшийся поворот и пустился бежать.) – «Я опаздывал, хотел успеть на занятия».

Через полчаса меня привезли туда, где должна была состояться встреча, на автобусную остановку перед библиотекой Стамбульского университета, и пригрозили, что пристрелят, если я попытаюсь бежать. Полицейские в штатском вышли из машины, разошлись по сторонам и стали издалека наблюдать за теми, кто вместе со мной стоял на остановке. Я посмотрел на часы: без трех минут два. Наши встречи подчинялись строгим правилам; приходить можно было не раньше, чем за три минуты до назначенного времени, и если второй человек не явился, ждать его разрешалось тоже не более трех минут. Передо мной остановился автобус. Глядя на выходящих из него пассажиров, я боялся, что увижу человека, с которым должен встретиться. Удивительно, до чего много народа собралось на остановке, где я так часто бывал. Вокруг студенты, туристы, мужчины в деловых костюмах. Время шло быстро, вот уже без двух минут два. Я попытался определить, кто из людей на противоположном тротуаре смотрит в мою сторону, но там была такая толпа, что ничего не удавалось разобрать. Среди тех, кто поспешно переходил дорогу, лавируя между машинами, мог быть и человек, которого я ждал. Может быть, он почуял расставленную ловушку, а может, его насторожило что-то в облике следящих за мной переодетых полицейских. Или, угадав по моему встревоженному виду, что меня поймали, он сразу же смешался с толпой и ушел. Я посмотрел на часы: без одной минуты два – и, мгновенно приняв решение, бросился наперерез подходящему к остановке автобусу, но не рассчитал. Он врезался в меня, и я

повалился. Послышались крики. Несколько человек схватили меня за руки, оттащили к машине и, бросив на заднее сиденье, начали избивать. «Кто это был, сволочь? Кто?» В рот мне сунули дуло пистолета. Я не мог открыть глаза, голова кружилась. «У тебя есть пять секунд, и я нажму на курок!» Через пять секунд пистолет вытащили у меня изо рта и принялись сжимать мошонку. Я закричал, но мне заткнули рот. Из глаз брызнули слезы.

Как бы ни готовил человек себя к боли, в момент столкновения с ней разум оказывается парализованным. Боль стирает всякое представление о времени, и оно останавливается. Окружающая реальность исчезает, весь мир сжимается до границ твоего страдающего тела. Этот миг замер навсегда, и никакое другое будущее тебя не ждет. Было в этом нечто схожее с прикованностью парикмахера Камо к прошлому. Все это я понимал. Но мог думать только об одном, мог задавать себе лишь один бессмысленный вопрос: почему, когда время так велико – миллиарды лет! – мы застряли именно в том его отрезке, где меня терзает боль? Как ребенок, обжегшийся о стакан с кипятком, опасливо прикасается к любому предмету, так и я не знал иных ощущений, кроме боли, и не мог думать ни о чем, кроме времени. Если бы я верил, что Доктор даст ответ на мои вопросы, я спросил бы его. Доктор полагал, что нельзя укрепить в себе стойкость перед болью, думая о ней, напротив, нужно о ней не думать. Но когда все бесконечное время вместилось в мое тело, в голове осталась только одна мысль: почему из всего этого многомиллиардного потока лет мы сейчас оказались именно в том мгновении, когда я корчусь от боли?

– А ты как, в порядке? – спросил Доктор, подняв голову и посмотрев на меня.

– Да.

– Давайте-ка встанем, а то Камо замерзнет.

Мы с Доктором сняли пиджаки (у Камо пиджака не было), постелили на пол и уложили на них пожилого незнакомца. Доктор измерил его пульс, дотронулся до шеи, потом смочил водой пересохшие губы. Незнакомец закашлялся, его грудь быстро заходила вверх-вниз.

Мы втроем сели рядом, привалившись спинами к стене, и стали смотреть на пожилого человека, на его лицо и длинные волосы. Его ноги почти упирались в дверь. Он один, лежа, занимал едва ли не всю камеру и походил на покойника

перед похоронами – на том же кладбище, где уже погребли нас. Города возникают на развалинах других городов, мертвецы ложатся в землю, поглотившую прах других мертвецов. Стамбул делал вдох своими подземными камерами, в одной из которых ютились мы, и на нас оседал запах давно умерших людей. Наш разум становился пристанищем былых городов и их обитателей, и эта ноша была тяжела. Потому боль и терзала так жестоко нашу плоть.

– Интересно, он выживет? – заговорил парикмахер Камо. – Если нет, снова станет просторнее. Мы здесь и втроем-то с трудом помещались, а теперь нас четверо. Как нам лежать?

Доктор не ответил Камо, а поднял руку и торжественно, словно на священную книгу, возложил ее на сердце пожилого человека. Некоторое время он ждал, закрыв глаза, и в его спокойствии угадывалось нечто такое, что, казалось, способно оживлять покойников и заглушать боль.

– Очнется он, очнется... – прошептал Доктор.

Интересно, когда меня принесли сюда без сознания, он так же смотрел и терпеливо ждал, пока я очнусь? Так же прислушивался к моему дыханию больше, чем к своему?

Я поднялся на ноги и заглянул в прорезь. Девушка из противоположной камеры тоже стояла у двери. Я кивнул ей, ожидая увидеть отклик на ее лице. Возможности поговорить у нас не было, даже шепот разнесся бы по коридору и достиг ушей охранников. «Ты в порядке?» – попытался я спросить жестами. Девушка внимательно посмотрела на меня, а потом утвердительно кивнула. Она выглядела выпавшейся и отдохнувшей. Крови на нижней губе уже не было, однако заплывший глаз по-прежнему не открывался. Тем временем девушка подняла левую руку и указательным пальцем стала чертить в прорези невидимые буквы. Сначала я не понял, о ком она спрашивает. Заметив это, она начала чертить снова. «Человек, которого недавно принесли, дядя Кюхейлан. Как он?» – вот что она спрашивала. Оказывается, она знала его имя, была с ним знакома. Я тоже начертил в воздухе: «Он не умрет». А потом представился: «Меня зовут Демиртай».

Когда девушка принялась чертить в ответ свое имя, пожилой человек застонал, и я оглянулся. Он открыл глаза и пытался понять, где находится. Посмотрел на

Доктора и парикмахера Камо, обвел взглядом стены и потолок, пощупал рукой бетонный пол.

– Стамбул? – с трудом проговорил он. – Это Стамбул?

Затем он закрыл глаза, но на сей раз не потерял сознание, а погрузился в сон, и на лице его возникло странное, едва ли не счастливое выражение.

Второй день

Рассказывает Доктор

Белая собака

– Так ты, дядя Кюхейлан, принял эту камеру за Стамбул? Мы сейчас под землей. Это там, наверху, проспекты и здания. Раскинулся город от одного края горизонта до другого, даже купол небесный с трудом вмещает его в себя. Под землей нет ни запада, ни востока, но там, наверху, если пойдешь вслед за ветром, обязательно повстречаешься с Босфором, разглядишь откуда-нибудь с холма его сапфировые волны. Если бы ты впервые увидел Стамбул, о котором давным-давно рассказывал тебе отец, не в этой камере, а с палубы корабля, ты понял бы, дядя Кюхейлан, что этот город – нечто гораздо большее, чем три стены и железная дверь. Когда плывешь издалека, то сначала по правому борту появляются едва различимые в дымке Острова[10 - Имеются в виду Принцевы острова, по административному делению – один из районов Стамбула. Турки называют их Стамбульскими островами или просто Островами.]. Ты бы решил, что эти темные пятнышки – стаи птиц, опустившиеся на воду отдохнуть. Слева возникает берег, и змеей вьющиеся вдоль него во?ды в конце концов встречаются с маяком. Дымка тает, и красок становится все больше. Ты смотришь на купола и тонкие минареты так, словно перед тобой настенный ковер в твоём деревенском доме. Глядя на рисунок этого ковра, ты, бывало, погружался в размышления о неведомом мире, где течет совершенно неизвестная тебе жизнь, – и вот теперь корабль привез тебя в самое сердце этой жизни. Человек – это воздух, который он выдыхает, сделав сначала глубокий вдох. «Всей жизни не хватит», – говоришь ты сам себе. А город все растет – крепостные стены, башни, купола, – и тебе кажется, что он становится вторым

небосводом.

У одной из стоящих на палубе женщин ветер уносит красный шейный платок, и он достигает берега прежде корабля. Ты ныряешь в толпу на пристани и принимаешься бродить по брусчатым улицам, так же бесцельно, как летит несомый ветром платок. Добравшись до Галатской площади, где воздух звенит от криков торговцев, ты достаешь из кармана кисет с табаком и скручиваешь сигарку. Мимо медленно бредет старуха, ведет на веревке овцу. Какой-то парень окликает ее: «Здравствуй, Бабуля! Куда это ты идешь с собакой на веревке?» Старуха оборачивается, смотрит на овцу, потом на парня и говорит: «Слепой ты, что ли? Овцу за собаку принял». Ты увязываешься следом за старухой. Навстречу попадает еще один молодой человек, и он туда же: «Что, Бабуля, решила собаку выгулять?» Бабуля снова оглядывается, смотрит на свою овцу и ворчит в ответ: «Да не собака это, а овца. Солнце вам всем голову напекло, что ли?» Проходите еще немного, и снова: «Что же это ты такую паршивую собаку на веревке водишь?» Потом улица пустеет, голоса смолкают. Сгорбленная Бабуля замечает тебя и спрашивает: «С ума я сошла, что ли, Дедуля? Принимаю собаку за овцу? Когда в моей голове стало пусто, опустел и весь мир, только я осталась, да ты, да эта непонятная животина». Пока Бабуля говорит, ты разглядываешь зверя на веревке. Кто это, овца или собака? Ты боишься, что твой первый день в Стамбуле, начавшись с недоумения, предвещает тебе полную сомнений жизнь.

Бабуля, потянув за веревку, медленно уходит прочь. Но ты не смотришь ей вслед, ты оглядываешься по сторонам, дивишься на творения рук человеческих. Человек создал башни, статуи, площади, возвел бесконечные стены. Море и земля были и до человека, а город – мир, человеком сотворенный. Город порожден человеком, и ты понимаешь, что он всегда будет нуждаться в человеке, подобно тому как цветок всегда нуждается в воде. Красота города, как и красота природы, в самом их существовании. Кривые камни превращаются во врата храма, бесформенная глыба мрамора – в величественную статую. Так что, думаешь ты, нет ничего удивительного, если овцы в городе оборачиваются собаками.

Ты бродишь по городу, пока солнце не опускается к крышам домов. Пьешь прохладную воду из служившего людям веками уличного источника. Слышится собачий лай, ты поднимаешь голову, смотришь в ту сторону, откуда он раздается, и видишь в воздухе красный платок – ветер несет его из Галаты к морю. Какое странное путешествие – жизнь! Платок, прилетевший с моря, в море

и возвращается, а куда же, спрашиваешь ты, вернуться городскому человеку? Ты медленным шагом направляешься в ту сторону, откуда доносился собачий лай, словно надеясь отыскать там нужный тебе знак. Твоих ноздрей достигает аппетитный аромат, который приводит тебя ко двору ветхого дома. Над изгородью поднимается дымок. Ты подходишь поближе и заглядываешь через нее. Во дворе сидят три молодых парня, жарят на костре мясо и пьют вино. Один из них тихо что-то напевает себе под нос. Заметив на земле овечью шкуру и веревку, ты понимаешь, что в этом дворе окончила свой жизненный путь овца Бабули, а парни – те самые, что, потешаясь над старухой, весь день нарочно попадались ей на пути. Их затея в конце концов удалась: Бабуля поверила, что ее овца на самом деле собака, и отпустила животину. А три заговорщика мигом поймали овцу и устроили дружескую пирушку.

Пока я рассказывал эту историю, дядя Кюхейлан смотрел на меня, не отводя взгляда, и посмеивался. В конце я, по примеру студента Демиртая, повторил последнюю фразу:

– Да, три заговорщика мигом поймали овцу и устроили дружескую пирушку.

Дядя Кюхейлан снова рассмеялся.

– Умеешь ты красиво говорить, Доктор, – сказал он, – однако мой внутренний голос по-прежнему утверждает, что эта камера – Стамбул. Отец так много рассказывал мне о Стамбуле, что я порой не мог разобрать, где правда, а где выдумка. Например, он рассказывал о позабытом народе, который обитает под землей, не то в городе, не то на кладбище, протянувшемся от одного конца городских стен до другого, – эти люди выходят на поверхность только по ночам. Но я, слушая ребенком подобные истории, терялся в догадках, говорит ли он о том, что видел собственными глазами, или припоминает какую-нибудь из сказок «Тысячи и одной ночи»? Ты сам, Доктор, утверждал, что жизнь – странное путешествие. Две недели назад в далекой деревне меня отвели в полицейский участок, завязали мне глаза, а потом я прошел по темному подземному ходу и открыл глаза уже в Стамбуле, о котором мне столько рассказывал отец.

Разговаривая, дядя Кюхейлан активно жестикулировал: то расчесывал руками воздух, то выставлял вперед два пальца, словно держал в них воображаемую папиросу.

– По вечерам отец при свете газовой лампы устраивал на стене театр теней, изображал своими ловкими пальцами целые города. Так он повествовал и о Стамбуле. Сначала показывал нам длинные пароходы, затем еще более длинные поезда, а потом на стене появлялась тень молодого человека, стоящего под деревом. Когда отец спрашивал, кого ждет этот юноша, мы все в один голос отвечали: свою возлюбленную! Но отец, желая нас позлить, сажал юношу в тюрьму или заводил в воровской притон и лишь потом, когда мы теряли всякую надежду, устраивал ему встречу с любимой. Стамбул очень велик, твердил он, там за каждой стеной – своя жизнь, за каждой жизнью – своя стена. Он, Стамбул, словно колодец: глубокий, но тесный. Одних пьянит его глубина, других душит теснота. Потом отец поворачивался к нам и говорил: «Я расскажу вам о том Стамбуле, который видел собственными глазами». И он рассказывал, одновременно создавая на стене картины, и его рассказ уносил нас из нашего маленького домика в неведомый город, рождаемый тенями и становящийся огромным, как ночь. Я вырос на этих рассказах, Доктор. Эти стены, дверь и темный потолок мне хорошо знакомы, мой отец говорил именно об этом месте.

– Ты здесь только первый день, дядя Кюхейлан. Не торопись с выводами, подожди немного.

– Доктор, когда ты говорил, я чувствовал себя так, словно давно уже здесь. Сейчас день или ночь?

– Не знаю. О том, что наступило утро, мы узнаем, когда приносят еду.

Обычно по ночам следователи отправлялись на улицу, на задания, охотились на свою добычу. Это было единственное время, когда мы могли поспать и вообще немного расслабиться. Впрочем, какого-то прочно устоявшегося, единого для всех распорядка здесь не водилось. Бывало и так, что кого-то пытали круглые сутки, не возвращая в камеру, как меня первые пять дней.

– Интересно, что нам сегодня дадут поесть, – сказал я.

– А что, здесь по-разному кормят?

– Да, хлеб и сыр каждый день разные. Хлеб иногда просто черствый, а иногда очень черствый. Сыр то плесневелый, то откровенно гнилой. Повар каждый раз балует нас чем-нибудь новеньким.

Дядя Кюхейлан улыбнулся. Он уже два часа сидел на корточках, прислонившись спиной к стене. Следы побоев на его лице распухли, посинели. Только глаза поблескивали. Он поправил наброшенный на плечи пиджак и спросил замершего у прорези Демиртая:

– Никто не идет?

Демиртай обернулся, опустился на пол там же, где стоял, и уныло помотал головой:

– Когда пойдут, мы услышим скрип железной двери.

– Девушка ничего не сказала, когда ее уводили?

– Даже рта не раскрыла.

Девушку из противоположной камеры увели, когда дядя Кюхейлан еще лежал. Тот переживал за нее и расспрашивал о ней Демиртая.

Дядю Кюхейлана две недели пытали в армейской части, а затем отправили в долгий путь, который привел его в нашу камеру. Вместе с ним ехали четыре вооруженных охранника и девушка, на которую, как и на него, надели наручники. Из перешептываний охранников дядя Кюхейлан узнал, что в путь они отправились уже давно и девушку везут издалека. Сама девушка за всю дорогу не сказала ни слова, даже не шевельнула окровавленными губами. На остановках им давали хлеб, но она не ела, только пила воду. Дядя Кюхейлан рассказывал ей о себе и о своей деревне, она молча слушала. «Я верю, что ты никому не расскажешь, слишком уж ты молчаливая», – сказал он ей, и она, бросив на него быстрый взгляд, кивнула. Они, два впервые увидевших друг друга человека, двигались по пути, началом и концом которого была тьма, и доверяли друг другу, потому что на берегу океана боли время течет иначе.

– Своего имени она тебе тоже не сказала? – спросил дядя Кюхейлан.

– Сказала, – ответил Демиртай. – Точнее, написала.

– И что же она написала?

– Зине Севда.

– Зине Севда... – повторил дядя Кюхейлан. Его лицо просветлело. – Интересно, она немая? Может быть, нет, просто решила молчать, пока под арестом. С тобой она разговаривала, чертя буквы в воздухе. Почему же в дороге она мне не отвечала таким же способом? Потому что рядом были охранники?

Дядя Кюхейлан поднес воображаемую папиросу ко рту и сделал глубокий вдох. Потом выдохнул воображаемый дым и прислонился затылком к стене. Долго смотрел в пустоту, затем обвел взглядом темный потолок, снова поднес пальцы к губам, сделал вдох и посмотрел на меня. Мы встретились глазами.

С прежним, абсолютно серьезным выражением лица дядя Кюхейлан достал из кармана воображаемую табакерку и протянул ее нам с Демиртаем. Я на миг растерялся, но все-таки подыграл ему – сделал вид, будто беру из его пустой руки лист папиросной бумаги и насыпаю на него табак. Я курю, но сворачивать сигарки не умею, так что сначала посмотрел, как это делает дядя Кюхейлан, а потом повторил его движения. Дядя Кюхейлан снова полез в карман, достал воображаемый коробок спичек и закурил несуществующую папиросу. Парикмахер Камо не знал, чем мы занимаемся. Он уже несколько часов спал, сидя на корточках у стены и свесив голову.

– Сложнее всего всегда найти, обо что затушить окурок, – заговорил дядя Кюхейлан. – Обычно я ищу какую-нибудь трещину в стене и засовываю его туда. Если трещины нет, приходится бросать на пол. Однажды я очнулся в камере, где была кромешная тьма. Не удавалось даже дверь разглядеть – я нашел ее ощупью. Прислонился к стене, скрутил сигарку. Чиркнул спичкой, темнота вокруг мгновенно рассеялась – и что же я увидел? Из штукатурки на стенах торчали человеческие зубы, челюсти, отрезанные пальцы. Останки замученных жертв там использовали в качестве строительного материала. Я дотронулся до стены, все внимательно ощупал. И совсем забыл о том, что спичка продолжает гореть. Когда огонь обжег мои пальцы, я бросил ее на пол. А пальцы потом два дня болели.

Я понял, что дядя Кюхейлан не играет, а в самом деле верит, что между пальцами у него зажата папироса, – это было заметно по всем его движениям, по тому, например, как он, скручивая сигарку, стряхивает с одежды просыпавшиеся крошки табака, как дует на пальцы, когда догорает спичка. Я и

сам любил играть с реальностью, но, представляя, как мы с Демиртаем гуляем по Стамбулу, я все равно помнил, что нахожусь в камере. Мой разум никогда не отпускал веревочки своей марионетки – воображения. К тому же мне никогда не доводилось играть в такие игры одному. Но дядя Кюхейлан ничего не воображал, для него все было реально. Он мог бы точно так же вести себя и в полном одиночестве, творить в тюремной тьме совсем иную жизнь. И о том, что эта камера и есть Стамбул, он говорил всерьез. Ему не было нужды выходить на волю, чтобы увидеть мир, – он переносил мир сюда. Эта камера была для него Стамбулом, и он не сомневался, что в воздухе вокруг висит табачный дым.

А дым все сгущался. Я помахал в воздухе рукой, чтобы разогнать его. Мне хотелось верить в реальность того, что я делаю, – так бывает, когда видишь приятный сон и не хочешь просыпаться. Ну совсем как в детстве. Когда я стал оглядываться, ища, обо что бы затушить окурок, Демиртай протянул в мою сторону руку:

– У нас же есть пепельница.

Некоторое время он держал воображаемую пепельницу на весу, а потом поставил на пол, нам под ноги. Я затушил свою самокрутку, потом Демиртай – свою.

– Демиртай, – удивленно произнес дядя Кюхейлан, – ты сейчас, достав пепельницу, кое-чему меня научил. Я столько дней мучился, отыскивая щели в стенах! Ты меня выручил.

Сказав это, дядя Кюхейлан замолчал и принялся с задумчивым видом поглаживать бороду. Потом повернулся ко мне:

– Доктор, а как в городе понять, что собака – это собака? Здесь ровняют с землей холмы и на их месте возводят огромные дома. Здесь луну и звезды заменяют уличные фонари. То есть человек переделывает природу до неузнаваемости, и как тут понять, насколько собака остается собакой?

– В городе все зависит от человека. Если ты знаешь, что такое человек, то и все остальное становится тебе понятно, – ответил я, хотя не был уверен в правоте своих слов. Я и сам задавался похожими вопросами и размышлял о том, какой ответ был бы самым правильным.

– Но насколько можно познать человека, Доктор? Смог ли ты до конца познать своих пациентов, чью плоть рассекал, чье сердце и печень видел собственными глазами? В детстве, когда отец с помощью теней на стене рассказывал нам о Стамбуле, он говорил, что люди здесь не более чем такие же тени. Человек оставил свой былой облик в прошлом и обрел в городе новый. Отец не видел в этом худа, ему это казалось удивительно интересным. Тени обладают особым очарованием, не поддаться ему невозможно. Порой отец рассказывал нам – в нашем-то бедном доме! – об экзотических фруктах; ему хотелось, чтобы мы их себе представили. Однажды, описывая апельсин, он показал нам тряпицу похожего цвета, а потом сделал вид, будто очищает кожуру, и рассказал, что такое дольки. Мы все подражали его движениям и угощались апельсинами. Городские люди воображают себе жизнь, а мы с удобством в воображаемой жизни устраивались. Когда у нас не было табака, мы все равно могли курить вдоволь. В чем тут причина – в бедности ли? Или в том, что мы ощущали иную грань бытия? Отец об этом ничего не говорил.

Вот и у больных я, врач, наблюдал подобный интерес к жизни, свойственный беднякам. У тех, кто ждал своей очереди в безнадежном, пропахшем лекарствами больничном коридоре. Многие из них потом умирали. Перед смертью их глаза, неспособные уже в полной мере видеть мир, выражали не упрек, а любопытство. Такую же жажду жизни я угадывал сейчас и в глазах дяди Кюхейлана.

– Человек – единственное существо, не довольствующееся тем, что собой представляет, Доктор. Птицы – просто птицы, выводят птенцов и летают. Деревья – просто деревья, зеленеют и дают плоды. Человек – совсем другое дело, он научился мечтать. Ему недостаточно того, что есть. Серьги из меди, дворцы из камня – все это результат интереса к невидимому. Город – страна мечты, говорил мой отец, город дарит безграничные возможности, и человек там не часть природы, а меняющий ее мастер. Он строит, создает, творит. И тем самым меняет самого себя – делая инструменты, придает и себе новую форму. Человек в своем естественном виде – простой кусок мрамора, а в городе он превратил себя в прекрасную статую. Поэтому былой свой облик он вспоминает с насмешкой. Насмешка эта в городе становится его священной верой, и всех, кто не таков, как он, городской человек презирает. Он неустанно работает, стремясь превратить почву в бетон, воду – в кровь, Луну – в свой второй дом. Он все меняет, и время начинает бежать быстрее, и чем быстрее оно бежит, тем необузданнее становятся человеческие желания. Вчерашнего дня для человека не существует, а день сегодняшний ему неясен. Что такое собака, любовь,

смерть, он тоже представляет неотчетливо. На все он смотрит с интересом и сомнением. Мой отец привык к этому и, когда бывал в городе, походил на окружающих, а возвращаясь в деревню, всякий раз выглядел чужаком. В первые дни по возвращении он даже избегал нас обнимать – ждал, когда станет собой прежним.

Отец сравнивал это состояние с кессонной болезнью, которой страдают водолазы, опускающиеся на дно и потом поднимающиеся на поверхность. Только в эти дни он пил вино. Кстати, лучше всех умеют пить вино моряки, и они же самые неизлечимые мечтатели. Как-то, угодив за решетку, отец оказался в одной камере с бывшим моряком, и ночью соседу приснился кошмарный сон о том, будто его корабль тонет. Проснувшись в холодном поту, моряк рассказал отцу, что в темных глубинах моря живет огромный белый кит, насылающий на корабли бурю. Каждый моряк мечтает увидеть этого белого кита, погнаться за ним и загарпунить. В далеких морях плавал один капитан, которому – и больше никому, только ему одному – удалось отыскать белого кита. За многие годы до того капитан потерял ногу в схватке с этим морским чудовищем и с тех пор преследовал его, подгоняемый неукротимой жаждой мести. Когда они снова встретились, ярость белого кита схлестнулась с яростью капитана. Закончилась битва тем, что кит разбил огромный корабль на куски и все матросы вместе с капитаном пошли на дно. В живых остался только один матрос; он-то и поведал всем историю долгой погони и последней схватки среди неистовых волн. С того самого дня каждый моряк живет с мечтой увидеть белого кита и думает о нем даже чаще, чем о русалках. Отец показывал нам на стене тень кита, плавающего туда-сюда, и говорил, что стамбульских моряков тоже увлекала эта опасная мечта. Они бороздили северные и южные, западные и восточные моря, а потом, по прошествии многих месяцев, возвращались в укрытый туманом порт с пустыми руками, разбитые и печальные. Много их было, несчастных, которых свела с ума мечта о белом ките, просыпающихся среди ночи в холодном поту. Одним из них был и тот пожилой моряк, с которым отец сидел в одной камере. Это правдивая история, Доктор, и, как все другие истории, которые рассказывал мой отец, она заключала в себе тайну и очень мало кому была известна.

Дядя Кюхейлан замолчал, переводя дух, потом выпрямился, словно собрался сказать что-то важное, и повернулся ко мне:

– Историю о Бабуле, которую ты недавно рассказывал, я знаю. Ее я тоже слышал от отца. Он, помнится, посмеивался, когда говорил о том, как пожилая женщина поверила, будто овца – это собака, и как три шалолая устроили себе пир.

– Твой отец еще жив? – спросил я.

– Неужели я так молодо выгляжу? Нет, он давно умер.

Дядя Кюхейлан поднял руку и провел пальцами по стене, словно желая убедиться, что камера действительно существует. Возможно, он думал, что его отец много лет назад сидел именно здесь, и пытался найти на стене оставленный отцом след. Следы пребывания прежних заключенных, пусть и не его отца, на стенах камеры действительно присутствовали. Я тоже дотронулся до стены, медленно провел по ней рукой и сказал:

– Дядя Кюхейлан, ты знаешь историю про Бабулю, но ведь и я знаю твою историю про белого кита. Я сам мог бы ее тебе рассказать – и про капитана, сорок лет ходившего по океанам на китобойном судне, и про единственного матроса, спасшегося, когда это судно разбилось на куски.

– Про приключения моряков ты тоже знал?

Заметив, как удивили мои слова дядю Кюхейлана, в разговор вмешался Демиртай:

– И я знал.

Из коридора донесся легкий шорох. Демиртай дал нам знак молчать, припал к полу и заглянул в щель под дверь. Охранники, сидевшие в комнате у начала коридора, иногда выходили, пытаясь подловить разговаривающих заключенных. У каждого из них были свои привычные уловки: одни тихо подслушивали, надеясь узнать какой-нибудь секрет, другие распахивали двери и наказывали тех, кто говорил. Демиртай выпрямился:

– Все, ушел.

– Стало быть, вы знали про кита, – проговорил дядя Кюхейлан.

– Тут, в камере, мы рассказываем давно известные истории. Сначала мы с Демиртаем сидели здесь вдвоем, так что некоторые байки были рассказаны по два раза. Для тебя можем повторить их и в третий раз.

Студент Демиртай снова дал нам знак молчать. Послышался шорох шагов. В прорезь упала тень охранника и медленно уплыла прочь, шаги вскоре остановились. Охранник обходил камеры одну за другой и прислушивался. Мы переглянулись. Демиртай и я были привычны к таким проверкам. Порой нам подолгу приходилось сидеть молча. Если охранники разгуливали по коридору слишком часто или подолгу, мы старались заснуть, чтобы скоротать время, а потом слышали, как открывается дверь одной из камер и охранники кого-нибудь избивают. Их жертвы порой молили о пощаде или протестовали. Едва охранники возвращались в свою комнату, мы с Демиртаем представляли себе, как, оказавшись на свободе, отправляемся в дальнее странствие. Поднимаемся на борт проходящего через Босфор сухогруза под панамским флагом и выходим в Черное море. Мы стоим на палубе, встречая грудью влажный ветер, любимся яростными волнами и парящими над головой чайками, а когда опускается ночь, уходим в каюту. Там в компании матроса с почерневшими от машинного масла руками мы смотрим телевизор. Мы всегда пересказывали друг другу содержание фильма и, если он был двухчасовым, растягивали историю на те же два часа. В каюте, такой же тесной, как наша камера, нас тоже донимал холод. Когда подкрадывался сон, мы ложились и грелись друг о друга.

О чем думал парикмахер Камо, когда просыпался и видел, как мы молча сидим, прислушиваясь к шагам охранника, и неподвижным взглядом смотрим в пустоту, словно старики в кофейне? Вряд ли о том, изменилось ли что-нибудь, пока он спал. Может быть, присутствие других людей давило на него невыносимой тяжестью и он спрашивал себя, почему обречен терпеть нас рядом с собой? Он не заговаривал с нами и не видел необходимости задавать вопросы – с безразличным видом снова опускал голову и погружался в сон. Правда, иногда перед этим не упускал случая рассердиться за какой-нибудь пустяк на Демиртая. Он постоянно пребывал в своем колодце, а мы были вовне. Он-то, по его словам, всегда отдавал себе отчет в том, кто он такой, а вот мы возгордились и теперь, попав сюда, должны встретиться с самими собой лицом к лицу. Мы слишком запачкались светом, вот отчего мы так глупы и растерянны. Мы – безнадежный случай. И Камо ничего не оставалось – только проклясть нас и предоставить самим себе.

В тот день, когда привели Камо, я был в камере один. Он держался настороже, словно кошка, которую заперли в одной конуре с собакой. Я спросил, не ранен ли он, но не дождался ответа. Я представился, но он, словно ничего не услышав, обрушил на меня град вопросов: «Кто ты такой? Сколько ты уже сидишь в этой камере? Зачем меня к тебе посадили?» Грязный, вонючий, голодный человек. Я предложил ему хлеба – он взял его после некоторых колебаний и, протягивая

руку, внимательно смотрел мне в лицо. Мы были там, где люди знакомятся друг с другом поневоле. Я был старожилом, он – новичком. Он приготовился к чему угодно – и молча ждать час за часом, и наброситься на меня, чтобы задушить. Где он очутился: в трюме судна, которое идет неведомо куда, или на дне пропасти, откуда невозможно найти выход? Три стены, дверь, окровавленный человек – и больше ничего. Ему казалось, что стоит закрыть глаза и уснуть, как он проснется в совсем другом месте, все вокруг изменится. В его взгляде читалось любопытство, он пытался заново осознать себя. Снаружи донесся чей-то крик, Камо поднял голову. Чей вопль повторило эхо? Может быть, его собственный? Далеко ли стена, отразившая звук? Между верой в себя и отчаянием – тонкая грань. Боялся ли Камо, что на этой грани у него закружится голова?

Одно дело – понимать умом, что боль невозможно разделить, другое – почувствовать это собственным телом. Когда мы приходили в себя после невыносимых мук, нам казалось, что минуло много месяцев, даже лет. «Или это был миг, ничтожный, краткий миг?» Мысль о том, что мгновение и есть самая долгая мера времени, сводила нас с ума, ввергала в ужас. Боль не растягивала время, а углубляла. Парикмахер Камо, казалось, уже сталкивался с этим раньше. Приведенный в камеру, он выглядел растерянным, в мыслях его царил беспорядок. Он уже не раз бился о стену жизни, не раз падал. Подозрение стало для него способом уберечь себя, так что я не обижался на холод в его взгляде. Я дал ему хлеба и воды, поговорил с ним, пытаюсь внушить, что не чужак для него, а такой же несчастный, оказавшийся на грани гибели. Парикмахер Камо провел рукой по пятнам крови на стене, вдохнул висящий в воздухе запах смерти и проговорил: «Нет для человека иного острова, кроме него самого». Что это было – безразличие? Отчаяние? У меня для таких случаев припасена фраза, врачующая любые раны. «Надежда лучше богатства, – сказал я. – Надежда лучше богатства». Он посмотрел на меня пустым взглядом. Точно так же я смотрел на стены в тот день, когда меня бросили в камеру. Стена и человек. Вот границы, за которые здесь не выйти.

Парикмахер Камо и дальше оставался таким же беспокойным и недружелюбным, каким был в первый день. Неведомые моря и глубокие пропасти стали для него прошлым еще до того, как он оказался в камере. Старые раны не давали ему покоя – отсюда и неуживчивость.

«Вот, стало быть, какова подземная изнанка Стамбула, – произнес он, глядя в потолок. – Я так и предполагал».

Что он предполагал? Он мог уехать из Стамбула – почему же так к нему привязан? Для знакомства с этим городом достаточно трех дней, а чтобы по-настоящему его узнать, мало будет и жизни трех поколений. Между знакомством и знанием – мощная крепостная стена. Чтобы преодолеть ее, нужно время. И с человеком точно так же. Темны глубины города, темны глубины человеческой души. Влажно там и холодно. Никому не хочется в эту темноту, где ты встретишься с собой лицом к лицу, – кроме парикмахера Камо. Его взгляд направлен внутрь себя. Созерцая собственную душу, он увидел глубины города. «Я так и предполагал». Некоторым людям не нужно иных учителей, кроме боли. Чтобы познать Стамбул, парикмахеру Камо не понадобилось ни трех дней, ни трех поколений. Хватило трех глубоких ран.

Что же до дяди Кюхейлана, то он попал в город, о котором мечтал, туда, где вместо знакомой ему природы, в которой он рос, возникли новая природа и новый человек. Он говорил голосом мечтательного поэта, неистового первооткрывателя или потерявшего разум влюбленного; реальность, которую он никогда не видел, была для него важнее реальности собственного бытия. Поэтому для него, пожалуй, подземелье обернулось благом: попади он наверх, мог бы испытать разочарование. Город, ставший праздником для глаз и живота, обителью наслаждения, избыл много бед и несчастий, но лишился и чарующей атмосферы старинных преданий. На смену энергии и творческому пылу первых поколений пришел ненасытный аппетит. Людей, искусство, собак – всё любят с аппетитом, словно заблудившиеся в лесу дети, которые готовы от голода съесть что угодно, но ничем не насыщаются. Рассказать об этом дяде Кюхейлану я не мог. В тюрьме важно вовремя замолчать. Нельзя было говорить, что красота, которой в городе действительно много, быстро оскудевает и что многие молодые люди, стремящиеся найти город своей мечты, ищут тщетно и впустую.

В детстве я искал стамбульскую жизнь на улицах, а потом сначала улицы, а после и площади были захвачены стремительно умножившимися машинами и огромными зданиями, и место улиц и площадей в нашей жизни внезапно умалилось. А может быть, это началось давно, просто я не сразу заметил. Я рос, становился с каждым годом выше, вместе со мной росли здания, и в конце концов многоэтажные дома обступили нас со всех сторон. Улицы сделались чище, на них больше нет лачуг. Может быть, та жизнь, что шла на этих улицах до появления многоэтажных домов, просто устарела? Раньше город тоже расширялся неудержимо во все стороны, дома росли ввысь, этаж за этажом, но все-таки не заслоняли небо. Дома не должны быть помехой для взгляда, обращенного к небу; вот предел их роста, чувствовал я в детстве. На любой улице я мог поднять голову и увидеть небесную синеву. В те времена силуэт

города напоминал гряду невысоких холмов, волнами уходящих вдаль. Купола и башни перемежались широкими площадями, и гигантские тени не могли покорить ни одну из них.

Две недели назад, отправившись на улицу Лалели, где прошло мое детство, чтобы заглянуть в библиотеку Рагип-паши[11 - Рагип-паша (Коджа Мехмед Рагип-паша, 1698-1763) – государственный деятель Османской империи (в 1757-1763 годах – великий визирь), поэт, переводчик. Основанная им библиотека функционировала до 1999 года, после чего была закрыта на реставрацию.], я обратил внимание на то, что библиотека уже не выглядит сколько-нибудь заметным строением. Раньше она смотрелась украшением улицы, бриллиантом чистой воды, а теперь словно сжалась, скукожилась за толпой пешеходов, рекламными щитами и машинами. Тротуар стал гораздо выше, чем был когда-то, и главный вход в библиотеку теперь находится на метр ниже уровня улицы. Люди проходили мимо, не повернув головы: им было неинтересно, что находится за этой дверью. Едва войдя во двор библиотеки, я почувствовал, что оставил позади уличную суету. Мне показалось, что я попал в какой-то древний город. Мраморные плиты, которыми двор вымостили несколько столетий назад, резные камни, бронзовые украшения принадлежали давно забытой эпохе. Птицы лениво поводили крыльями, с розовых кустов, готовящихся к зиме, опадали листья. С любопытством глядя по сторонам, я подумал о том, что у человека есть право на спокойную, тихую жизнь и его жилище способно давать ему такую возможность. Время в прохладном воздухе библиотеки текло само по себе, никак не завися от течения времени в городе. Здесь оно не двигалось ни вперед, ни назад, а словно бы вращалось на месте, захваченное каким-то сильным источником притяжения. Я размышлял над вопросами, которые прежде не приходили мне в голову. Как могло получиться, что мир этого двора настолько отличен от внешнего мира, находящегося отсюда буквально в двух шагах? Как, пройдя через одну-единственную дверь, мы попадаем из одного времени в совершенно другое, словно из огня – в воду? И ведь два этих разных мира существуют один в другом, и при желании можно из одного заглянуть в другой, напрячь слух и услышать, что там происходит.

В библиотеке мне предстояло встретиться с одной девушкой, так что я пересек двор, поднялся по ступенькам и вошел в читальный зал. Потолок в читальном зале представлял собой небольшой купол, опирающийся на четыре колонны, – я хорошо его помнил. Стены облицованы бело-голубыми изразцами. Я обвел взглядом деревянные шкафы с книгами и рукописями. В школьные годы, занимаясь здесь, я, бывало, поднимал голову и начинал рассматривать эти шкафы и стены, теряя счет времени. Моего лба коснулось прохладное

дуновение, и я, вспомнив, зачем сюда пришел, перевел взгляд на столы. Все они, за исключением одного, были заняты юношами и девушками, корпящими над домашним заданием. Я не знал, как выглядит та девушка, с которой мне нужно встретиться. Условным знаком должен был послужить учебник анатомии в ее руках. Несколько человек посмотрели в мою сторону и вернулись к своим делам. Я медленно прошел вдоль столов, поглядывая на книги, но нужную мне девушку не нашел. Взглянул на коричневые деревянные часы на стене. От моих они ушли вперед на десять минут. Часы показывали неверное время или я опоздал на встречу? Я было заволновался, но потом вспомнил, что эти настенные часы еще тогда, в детстве, все время спешили на десять минут.

Я снова вышел во двор.

Глядя на это пространство, отделяющее библиотеку от такой близкой улицы, я подумал о босфорских течениях. На поверхности во?ды пролива текут с севера на юг, а на глубине – в противоположную сторону. Стамбул в этом смысле похож на Босфор. Две различным образом устроенные жизни существуют здесь рядом друг с другом и одновременно – в разных эпохах, доказывая, что пространство может господствовать над временем, а время способно течь в разные стороны. Архитекторы научились играть со временем раньше, чем физики. Они словно бы прокладывают в пространстве туннель, пропускают через него время и переносят людей из одной эпохи в другую. Время этой маленькой библиотеки, вокруг которой бурлил людской поток, стремилось в другую сторону, словно невидимое течение на дне Босфора, и благодаря этому здесь, в городских глубинах, шла своя, безмятежная и неторопливая жизнь.

Все девушки вокруг были одинаково одеты и причесаны. Мне и раньше казалось, что все молодые люди похожи друг на друга, а в тот день – особенно. Старею, что ли? Вполне может быть, у меня уже и волосы начали седеть. Остановившись у двери, я оглядывал двор. Никого с учебником анатомии там не было. Может быть, я просто не замечаю эту девушку, а она здесь, затерялась среди сверстниц? Может быть, она меня увидит и узнает? Моим опознавательным знаком тоже была книга – «Морской волк» Джека Лондона. Я вытащил ее из кармана и взял в руки так, чтобы было видно название. На меня посмотрело несколько подростков. Должно быть, подумали: что здесь забыл этот человек, по возрасту годящийся им в отцы? Я вернулся в читальный зал и пошел мимо столов, держа перед собой книгу и заглядывая в глаза девушкам. Они тоже смотрели на меня. И вдруг все разом вскочили на ноги и выхватили пистолеты, крича: «Не двигаться! А то пристрелим!» Со двора в читальный зал вбежало

несколько человек, один из них приставил пистолет к моей голове. «Это ты – Доктор? Ты?» Я ничего не ответил, и тогда кто-то сзади ударил меня кулаком по голове. Я упал. «Морской волк» выпал из моих рук, отлетел в сторону. У меня звенело в ушах. Перед глазами все плыло.

Я ощутил, как время внезапно остановилось, словно разбитые часы, однако, отконвоированный со двора, был тут же приведен в чувство обрушившимся отовсюду стамбульским уличным шумом. Полицейские окружали меня со всех сторон. На тротуаре собралась большая толпа, с интересом наблюдавшая за происходящим. Гадали, кто я такой: убийца, вор, насильник? Толкали друг друга, пытаясь получше меня рассмотреть. Пока агенты в штатском быстро вели меня к машине, я смотрел в людские лица. В одном ли времени мы с ними жили? Дядя Кюхейлан был прав, когда говорил, что человек, строя город, создает одновременно и самого себя, но если бы он увидел лица тех, кто сбежался поглазеть на мой арест, то, подумав, спросил бы: до чего довело этих людей городское время?

Послышался скрип железной двери. Я стряхнул с себя воспоминания и вернулся в камеру.

– Может быть, это Зине назад привели? – предположил дядя Кюхейлан.

Железная дверь продолжала скрипеть, медленно поворачиваясь на петлях, а мы гадали, какую камеру выберут следователи, кого уведут с собой. Камер здесь было очень много. Говорят, на войне каждый солдат верит, что уж его-то смерть непременно пощадит, и в этом мы ничем от них не отличались. Каждый из нас размышлял об одном и том же: скоро кого-то уведут за железную дверь, но кого? Спасение от подобных мыслей есть только одно: надо думать о чем-то хорошем. Вдруг просто наступило утро и принесли еду, хлеб с сыром?

Парикмахер Камо поднял голову и посмотрел на прорезь.

– Пусть наконец уже придут за мной, – проворчал он.

– Это, наверное, пайку принесли, – откликнулся я. – Сильно проголодался?

Камо не ответил и никак не отреагировал на мою улыбку. Он смотрел на свет, просачивающийся в прорезь.

– Удалось тебе поспать? – продолжал я. – Мы тут много говорили.

– Ваши разговоры мне не мешали, а вот собачий лай то и дело будил.

– Собачий лай?

– А вы разве не слышали?

– Нет. Откуда здесь взяться собаке?

– Вы, должно быть, увлеклись разговором, вот и не заметили. Лай доносился издалека, из-за тюремных стен.

– Тебе приснилось.

– Я могу отличить сон от реальности, Доктор. Каждый раз, услышав лай, я приоткрывал глаза, чтобы убедиться, что я все еще здесь. Лай был так же реален, как эта камера.

Дядя Кюхейлан положил руку на плечо Камо:

– Ты прав. Наверное, собака лаяла очень далеко, мы просто не обратили внимания.

Камо покосился на руку у себя на плече, потом взглянул дяде Кюхейлану в лицо:

– Похоже, это была белая собака. Лай резкий такой.

Дядя Кюхейлан убрал руку.

Из коридора слышались голоса, и мы все повернулись к двери.

– Я заберу вот этих, – сказал один из говоривших, очевидно показывая бумагу с именами заключенных.

– Они все в одной камере, – ответил охранник.

– В которой?

– Сороковой.

Мы переглянулись. Сунули руки под мышки, чтобы немного согреть их напоследок, и стали молча ждать.

Шаги загрохотали по бетонному полу, словно камни. Сколько человек шло по коридору, понять не удавалось, но их точно было больше обычного. Коридор все не кончался, голоса следователей эхом отдавались от стен и звенели в наших ушах. Мы надеялись, что они пройдут мимо, но нет, они остановились у нашей камеры. Лязгнул железный засов, и серая дверь отворилась. Камеру залило светом.

Парикмахер Камо первым встал на ноги.

Но охранник оттолкнул его.

– Стой на месте, дубина! – рявкнул он. – А остальные пусть выйдут.

Третий день

Рассказывает парикмахер Камо

Стена

– Далеко в горах, укрытых облаками, была деревня – каменные дома да дворы без деревьев, посмотришь издалека – подумаешь, что это и не деревня вовсе, а россыпь валунов. Однажды под вечер в ту деревню пришел странник в черной хырке[12 - Хырка — разновидность плаща или накидки, которая обычно ассоциируется с образом дервиша.], с длинным посохом в руке. Поздоровался со стенами, потом с собаками, а потом и со стариками, что сидели у стены дома. На

вопрос, кто он и как его зовут, странник ответил: «Я – пророк». Жители деревни предлагали ему ночлег, однако он вежливо отказался. Но люди видели, что босые ноги странника, израненные от долгого пути, оставляют кровавые следы на земле, и принялись настаивать, предлагая ему пищу и кров. Странник же принял только воду и мягким голосом сказал, что станет гостем лишь тому, кто узрит в нем пророка. Дети глядели на него во все глаза, а старики смеялись. Странник переночевал под открытым небом. Наутро он снова объявил себя пророком, а крестьянам, пожелавшим в доказательство чуда, ответил так: «Слово, идущее от сердца, – вот самое великое чудо! Не взыскайте иных чудес, верьте слову!» Но никто ему не поверил, и следующую ночь странник тоже провел на улице. Выпил воды, устроился под стеной вместе с собаками, да и уснул. На следующее утро, когда он снова повел все те же речи, над ним стали смеяться уже и дети. Странник же был спокоен. «Если эта стена заговорит, – сказал он, – то вы, не верящие мне, поверите ли ей?» – «Поверим!» – отвечали все в один голос. Тогда босой странник в черной хырке и заплатанных штанах повернулся к стене и воззвал: «Эй, стена! Скажи им, и малым, и старым, что я – пророк!» Крестьяне, хоть и не верили ему, смолкли и стали ждать. И стена заговорила. «Ложь! – объявила она. – Этот человек не пророк!»

Сколько времени прошло с тех пор, как следователи увели Доктора, студента и дядю Кюхейлана? Оставшись в одиночестве, я заговорил со стенами. Глядя на ту, что была напротив меня, рассказывал ей истории и сам над ними смеялся. Одному в камере гораздо лучше. Не нужно терпеть присутствие других людей, страдать от их глупости. Я знаю, каковы люди. Они жаждут истины, но не понимают ее. После стольких усилий, жертв и молитв во что они поверят: в чудо говорящей стены или в то, что от этой стены слышали? «Ложь! Этот человек не пророк!» Разве не ложь истинная суть человека?

Если бы здесь были Доктор со студентом, они сказали бы: «Мы и эту историю знаем. Мы тут рассказываем известные истории, делимся тем, что есть». А как же иначе? Хоть одна нерассказанная история, хоть одно произнесенное слово разве остались на свете? Как-то весенним днем, когда вдруг хлынул ливень и лил, не прекращаясь, час за часом, так что никому не хотелось и носа высунуть на улицу, посетитель моей парикмахерской произнес эту фразу, а я потом рассказал ему историю о страннике. Больше всех смеялся над растерянностью крестьян из горной деревушки архитектор Адаза – аж чай пролил себе на галстук и, увидев в зеркале, как теперь выглядит, рассмеялся пуще прежнего. Вот только не знал он, что не сможет уснуть в эту ночь. Еще посмеиваясь, он вышел из парикмахерской, а на следующее утро прибежал назад невыспавшийся, с красными, воспаленными глазами.

– Камо, скажи мне правду. Я до самого утра не мог успокоиться, все думал об этом. Скажи, был тот странник пророком или нет?

Я успокоил его, усадил на стул перед зеркалом в голубой раме, заказал в соседней чайной два стакана чаю.

– Адаза, – сказал я архитектору, – раз ты просишь у меня ответа, значит согласишься мне, что бы я ни сказал?

– Да, поверю.

Принесли чай. Я сделал глоток, архитектор смотрел на меня и ждал.

– А если скажу, что я – пророк, ты тоже согласишься, Адаза?

Он не ответил. Я протянул ему сигарету, потом закурил сам.

– Стало быть, ты не согласишься, что я – пророк, – продолжил я. – Ну а если эта стена заговорит, согласишься ты согласишься?

Адаза уставился на стену. Внимательно изучил Девичью башню, пароход, чаек. Долго разглядывал стоящие под картиной горшок с базиликом и маленький радиоприемник. Потом перевел взгляд на флаг и постер над зеркалом и застыл, будто замороженный невинной улыбкой девушки (мои клиенты всегда заглядывались на ее ноги, упуская из виду лицо), так, словно опоздал на свидание и оттого потерял ее, но хранит о ней незабываемые воспоминания. А если бы не опоздал? Жил бы с ней счастливо где-нибудь далеко-далеко отсюда? Наконец взгляд архитектора Адазы опустился от постера к зеркалу, где он увидел собственное лицо.

– Ложь! – сказал он, глядя на свое отражение. Помолчал немного. Затем затянулся сигаретой и выдохнул дым прямо в зеркало. Когда отражение скрылось в дыму, он повторил: – Ложь! – и по щеке его скатилась слеза. Не говоря более ни слова, он встал и вышел в открытую дверь.

Больше он ко мне не заходил, и я подумал, что он нашел себе нового парикмахера. Его жена была близкой подругой моей. Однажды она пришла к

нам и рассказала, что Адаза ушел из дому и пропал без вести. После этого заболела одна из их дочерей. Жена Адазы попросила меня найти пропавшего мужа и привести его домой. Махизер поддержала ее просьбу, и я отправился на поиски. Обошел все места, где собираются архитекторы, обшарил бары Бейоглу, просмотрел новости о происшествиях на третьих страницах газет и в конце концов узнал, что Адаза прибился к бездомным, обитающим близ крепостной стены[13 - Имеется в виду стена Феодосия, построенная еще византийцами в V веке и протянувшаяся от залива Золотой Рог до Мраморного моря. В наши дни значительная ее часть пребывает в небрежении и полуразрушенном состоянии.]. Тогда я начал обыскивать подземные туннели и тайные проходы, что тянутся кротовыми норами от мыса Сарайбурну до Кумкапы, да расспрашивать нюхающих клей уличных мальчишек и дешевых проституток, и вот однажды ночью я нашел его в Джанкуртаране, у костра, разведенного под стеной с той ее стороны, где проходит железная дорога. Вокруг костра собралась дюжина бездомных нищих. Они передавали друг другу бутылку с вином, а один из них пел заунывную, с надрывом песню: «Как тебе не стыдно, подлая судьба!» Я встал за деревом и некоторое время наблюдал за ними, не подходя ближе. «Дни мои чернее ночи...» – выводил певец, когда по железной дороге загрохотал поезд. Земля под ногами задрожала, среди деревьев мелькнул желтый луч и исчез. Когда шум поезда затих вдали, смолкла и песня. «Эй, Странник, – подал голос кто-то из нищих, – поговори с нами, как вчера говорил. Расскажи что-нибудь новое».

Странник этот был не кем иным, как архитектором Адазой. Когда он поднялся на ноги, я увидел на нем черную хырку, а в руке он держал длинный посох. И еще он был бос, как скиталец из притчи про стену. Держал он себя так, словно намеревался обратиться с речью к самому изысканному обществу. Обвел взглядом присутствующих и заговорил:

– Нам солгали. Человек, первым нашедший применение огню, что горит сейчас перед нами, не дал ему имени. Имя дали пришедшие позже и заявили, что человечество, мол, открыло огонь. Сущее существует, как его можно открыть? Нам не сказали, что первый человек не открыл огонь, а создал его. Пока огонь сам собой возгорался и сам собой гас, он был ничто. Однажды человек поджарил на огне добытое на охоте мясо, согрел им свою пещеру. И это было не открытие, а сотворение. От нас скрыли истину.

– Да здравствует Странник!

– Молодец, Странник! Мы ничего не поняли, но ты давай говори.

– Да выпей вина, а то в горле пересохнет.

Архитектор Адаза был пьян, но хорошо помнил то, что услышал когда-то от меня. Сейчас он повторял слова, сказанные мной однажды в парикмахерской, просто чтобы время тянулось не так медленно, пока я стриг его.

– Мы – жертвы города, – продолжал Адаза. – Мы бедны или несчастны, а чаще всего – и то и другое. Нас учили не терять надежды. Надежда – причина того, что мы миримся со злом. Но если сегодняшний день нам не принадлежит, где гарантия того, что нашим будет день завтрашний? Надежда – ложь, придуманная проповедниками, политиками, богачами. Они обманывают нас, скрывают от нас истину!

Эти слова вызвали у пьяных нищих еще больший восторг:

– Будь проклята надежда! Да здравствует вино!

– Правду говоришь!

– Надежда – опиум!

Адаза перебил эти возгласы вопросом:

– Братья, как по-вашему, этот город мертв или жив?

Я подумал, что он сейчас вспоминает свои университетские годы: говорил он так, словно обращался к революционно настроенным студентам, выкладывал годами копившиеся заветные мысли. Он тосковал по тому времени, когда примыкал к молодым бунтарям, и жалел, что отдалился от них из страха перед полицией. Однажды, выпив лишнего, он рассказал мне об этом и прибавил: «Ты можешь считать, что избавился от прошлого, но прошлое никогда тебя не оставит».

Бродяги загомонили все разом:

– Этот город одновременно и мертв, и жив!

– Тому, кто скажет, что он жив, я бутылку о башку разобью!

– Мертв, мертв!

Адаза разволновался. Снова заговорив, он то и дело привставал на носки:

– Мои бездомные братья! Отверженные и униженные! – Его голос звучал все громче. – Этот город создали не мы, оказались мы в нем не по своей воле. И убили его не мы. Выхода нет, корабли сожгли до нас. Кто сотворит новый город, как некогда первый человек сотворил огонь? Кто вдохнет в него душу?

– Говори, Странник, говори!

– Расскажи нам еще и про полнолуние!

– И про звезды!

Тут они все задрали головы. Я тоже отошел на два шага от своего дерева и глянул в небо. Небесная бездна была бесконечна – только у бездомных и пьяных нашлось бы время, чтобы нырнуть в нее. Здесь, вдали от городских огней, небо просто кишело яркими звездами, на которые горожане – разные там стоматологи, пекари, домохозяйки – никогда не смотрят. Звезды словно собрались в кучу над крепостной стеной и подрагивали в пустоте, каждый миг готовые посыпаться на землю.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Больница Святого Георгия – известна также как Австрийская больница, была основана в 1872 году монахинями из Австрии. Функционирует по сей день. –
Здесь и далее примеч. перев.

2

Каракёй, а также упоминаемые далее в тексте Саматья, Ортакёй, Лалели, Бейоглу, Кумкапы, Джанкуртаран, Хисарустю, Бейазыт, Эминоню, Топхане – районы европейской части Стамбула.

3

Церковь Святого Антония Падуанского – католическая церковь в Стамбуле на проспекте Истикляль.

4

Галатская башня – крепостная башня, построенная в XIV веке генуэзцами.

5

Девичья башня – сооружение на острове вблизи азиатского берега Босфора.

6

Ходжа – принятое в Турции вежливое обращение к учителю.

7

«Цветы зла» – сборник стихотворений французского поэта-символиста Шарля Бодлера (1821–1867), выходивший с 1857 по 1868 год в трех редакциях.

8

Мейхане – питейное заведение.

9

Раки – турецкий алкогольный напиток, анисовая водка.

10

Имеются в виду Принцесы острова, по административному делению – один из районов Стамбула. Турки называют их Стамбульскими островами или просто Островами.

11

Рагип-паша (Коджа Мехмед Рагип-паша, 1698–1763) – государственный деятель Османской империи (в 1757–1763 годах – великий визирь), поэт, переводчик. Основанная им библиотека функционировала до 1999 года, после чего была закрыта на реставрацию.

12

Хырка — разновидность плаща или накидки, которая обычно ассоциируется с образом дервиша.

13

Имеется в виду стена Феодосия, построенная еще византийцами в V веке и протянувшаяся от залива Золотой Рог до Мраморного моря. В наши дни значительная ее часть пребывает в небрежении и полуразрушенном состоянии.

Купить: https://tellnovel.com/ru/senmez_burhan/stambul-stambul

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)